

ПОДБЯЧИЙ ЕРШОВ • КНИГА 6

ДЫМ НАД БУЛАКОМ

ИСТОРИЧЕСКИЙ ДЕТЕКТИВ



АЛЕКСАНДР ДЕМИДОВ

Aleksandr Demidov

Дым над Булаком

«Автор»

2026

Demidov A.

Дым над Булаком / А. Demidov — «Автор», 2026

Казань, 1661 год. В ночь после свадьбы подьячего Тимофея Ершова пожар уничтожает Кожевенную слободу. В сгоревшей избе находят тело кожевника Ухова — главного свидетеля по делу о приказных посулах. Посад уже назначил виновного: татарина-водовоза, который был у места пожара и бежал, не вылив полную бочку. Но слишком многое не сходится. Чужой сапог в чане с известью. Человек, тайком отмывавший руку и ногу в Булаке. Свидетельские слова, которые кто-то заботливо придумал заранее. Чтобы добраться до истины, Ершову придётся расследовать преступление рядом с московским сыщиком, подозревать тех, кому он доверял, и позволить собственной жене дать показание против человека, заменившего ему отца. Потому что своих не сдают. Пока не становится ясно, чего стоит такое молчание.

© Demidov A., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Почеть	6
Кожевенная слобода	11
Свадьба	15
Цепь	19
На Уховом дворе	24
Новокрещен	30
Конец ознакомительного фрагмента.	31

Aleksandr Demidov

Дым над Булаком

Александр Демидов

Дым над

Булаком

Исторический детектив

Серия «Подъячий Ершов»

Книга шестая

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Почесть

— Каравай на сколько? — спросила Марфа Кузьминишна.

— На сорок, — сказала Аграфена.

— На сорок мало.

— На сорок.

— Придут шестьдесят, — сказала Марфа. — Ты считаешь, кого звала. А я считаю, кто придёт. Это разный счёт.

Аграфена сидела за столом в горнице и писала мелом на доске, а Марфа стояла над ней, как стоит сваха, которая своё дело сделала и теперь считает, что вправе распоряжаться всем остальным. Было утро пятницы, на другой день после Успенья. Пост кончился. Свадьба была назначена на воскресенье, и всё, что в доме можно было считать, Аграфена уже сосчитала дважды: пиво, мёд, рыбу, хлеб, лавки, скатерти, сколько чаш у неё своих и сколько надо взять у Сурина, который сам предложил и сам же сказал, что чаши посчитает обратно поштучно.

— Шестьдесят, — повторила Марфа. — Посад придёт. Все придут смотреть, как Кондратьева второй раз идёт. И за кого.

— Пусть смотрят.

— Пусть. Только каравай на шестьдесят.

Аграфена стёрла «сорок» и написала «пятьдесят».

— Шестьдесят, — сказала Марфа.

Аграфена посмотрела на неё снизу.

— Марфа Кузьминишна. Мука нынче почём?

Марфа подумала.

— Почём ни есть, — сказала она. — Пятьдесят пять человек. И не меньше. И водовоза найми. У тебя колодец к вечеру пустой будет, на шестьдесят-то человек. Тихон один не натаскает, он и так весь в поту, как жених.

— Водовоза найму, — сказала Аграфена. — Ибрагим родню прислал.

— Татарина?

— Крещёного. Василием звать. Бочка своя, лошадь своя. Полтина за день, с ночью.

Марфа поджала губы, ничего не сказала и пошла смотреть скатерти.

Ершов узнал про московского сыщика от сторожа, который узнал от перевозчика, который узнал от кормщика нижегородского струга, на котором сыщик пришёл. Струг стал у пристани на рассвете. К обеду об этом знала вся приказная изба, и Пантелей, перекладывая бумаги, сказал в пространство, что из Москвы в августе приезжают только по двум делам: по хлебному и по худому.

— Хлебное дело в Казань не шлют, — сказал он и посмотрел на дьяка.

Дьяк сидел за своим столом и писал. Не поднял головы.

— Значит, худое, — сказал Пантелей и стал перекладывать бумаги дальше.

Ершов сидел у своего окна и писал отписку о мостовых на Проломной. Он писал её третий день, потому что дьяк велел написать коротко, а коротко про мостовые не получалось: брёвна гнили по-разному, и у каждого бревна был свой хозяин, который его не клал. Он слышал Пантелея и слышал, как дьяк не поднял головы.

Дьяк Кирилл Матвеевич Протасьев сидел за этим столом двенадцатый год. Ершов знал его третий. За три года он видел, как дьяк сердится, — два раза. Как смеётся — один раз, когда губной на Масленой сел мимо лавки. Как боится — ни разу.

Сейчас дьяк писал, и перо у него шло ровно.

Сыщик пришёл после обеда.

Сначала вошёл пристав — незнакомый, московский, в хорошем кафтане, — и встал у двери. Потом вошёл молодой, лет двадцати пяти, чистый, быстрый, с ларцом под мышкой и с кожаной сумой через плечо, и оглядел избу так, как оглядывают помещение, в котором придётся работать: где свет, где стол, где сухо. А потом вошёл третий.

Ершов узнал его не сразу. Сначала узнал ларец — не тот, что нёс молодой, а другой, маленький, дубовый, с медными уголками, который вошедший держал под мышкой, как держат то, что не доверяют никому. А потом поднял глаза на лицо.

Вешняков постарел. Не сильно — на два года, как и положено, — но по-другому, чем стареют за два года: лицо стало суше, рот твёрже, и на висках, совсем рано, проступила седина. Кафтан на нём был новый, московского покроя, тёмный, не тот потёртый, в котором Ершов видел его два года назад. Он остановился посреди избы, поклонился образам, потом дьяку — ровно, коротко, — и только потом, обведя избу глазами, увидел Ершова.

Он не удивился. Он кивнул ему — так же, как кивнул бы в Москве, в приказе, через стол, человеку, которого видел вчера.

— Ефим Ларионов сын Вешняков, — сказал он дьяку. — По государеву указу. Грамота при мне.

Дьяк отложил перо. Встал. Поклонился.

— Кирилл Протасьев. Читай, Ефим Ларионович. Изба твоя.

Вешняков не стал читать сам. Он отдал грамоту молодому, и молодой развернул её и стал читать — громко, чисто, звонко, без запинки, как читают люди, которые любят читать вслух и знают, что у них это хорошо выходит. Пантелей, который сам всю жизнь читал в этой избе, слушал его, чуть склонив голову, с выражением мастера, который слышит, как подмастерье играет на его гусях.

— «...от царя и великого князя Алексея Михайловича всеа Великия и Малыя и Белья России самодержца в Казань, боярину и воеводе нашему... Били челом нам, великому государю, казанские посадские люди, а в челобитной их написано, что в Казани в приказной избе дьяк Кирилл Протасьев емлет с них посулы и поминки, и почесть, и лишние пошлины сверх нашего указа, и за то волокиту им чинит и правежом устрашает...»

Молодой читал, и в избе было тихо. Сторож, который всегда засыпал, когда читали, не спал.

— «...И как к тебе ся наша грамота придёт, и ты б велел нашему сыщику Ефиму Вешнякову про то сыскать всякими сыски накрепко, и посадских людей, которые давали, расспросить порознь, а дьяку Кириллу Протасьеву до нашего указа у дел быть, а в сыск ему не вступаться...»

Молодой дочитал до конца, до дьячьей приписи, свернул и подал Вешнякову. Вешняков подал дьяку.

Дьяк взял грамоту. Посмотрел на приписку. Посмотрел на печать.

— Хорошо читает, — сказал он, кивнув на молодого. — Как звать?

— Савва Кочергин, — сказал молодой и поклонился. — Подьячий. При Ефиме Ларионовиче.

— Хорошо читаешь, Савва. Громко. — Дьяк положил грамоту на стол. — Ефим Ларионович, у дел быть велено. Буду. А что в сыск не вступаться — не вступлюсь. — Он помолчал. — Кто челом бил?

— Посадские люди, — сказал Вешняков.

— Посадские люди, — повторил дьяк. — Ну да.

Он сел. Взял перо. Обмакнул.

Ершов смотрел на него и думал, что дьяк сейчас продолжит писать то, что писал, — и дьяк продолжил. Перо шло ровно. Только он не писал, — Ершов видел со своего места, — он обводил одну и ту же букву, «к», по кругу, медленно, раз, другой, третий.

Вешнякову отвели стол Пантелея. Пантелей, ворча себе под нос что-то дьяконским басом, переложил свои бумаги на подоконник и сел на лавку. Кочергин раскрыл суму, вынул чернильницу, перья, нож, чистые листы, положил всё ровно, каждое на своё место, и встал рядом, ожидая.

— Книги приказной избы, — сказал Вешняков. — Приходные. Пошлинные. За три года.

— Пантелей подаст, — сказал дьяк, не поднимая головы.

— И дьячьи книги.

— Каких?

— Твои, Кирилл Матвеевич. Что брал, с кого, когда.

Дьяк поднял голову.

— Нет таких книг, — сказал он спокойно.

— Нет, — согласился Вешняков. — Я так и думал. — Он раскрыл свой ларец, маленький, вынул сложенный лист. — Тогда по списку. — Он развернул. — Здесь сорок три имени. Посадские, которых в челобитной назвали. Ко всякому будет расспрос порознь, при мне. Пантелей, ты посадских знаешь?

— Всех знаю, — сказал Пантелей с лавки.

— Скажешь, кто где живёт.

Вешняков стал читать имена. Читал сам, негромко, ровно, без выражения. Ершов слушал. Он знал почти всех. Гладышевы, оба. Ерохин. Мохов, квасник. Агафон Ковалёв, салотопник. Суконник с Гостиного. Кирилл Ухов, кожевник, с Кожевенной. Онуфрий, что во всех кабалах послухом. Сабуров. Вешняков прочёл «Сабуров» так же ровно, как все остальные, но Ершов видел, что дьяк при этом имени перестал обводить «к».

Кондратьевой в списке не было.

Ершов не знал, почему его это удивило. Он думал, что будет.

Вешняков дочитал, сложил лист.

— С кого начнёшь? — спросил дьяк.

— С тех, кто, по челобитной, больше давал, — сказал Вешняков. — Савва с понедельника пойдёт по дворам. Скажет, когда кому прийти.

Кочергин кивнул.

Дьяк помолчал.

— Ефим Ларионович, — сказал он. — Ты в Казани два года назад был. По меди. Помнишь, как тогда посад был?

— Помню.

— А нынче как?

Вешняков подумал.

— Нынче лучше, — сказал он.

— Вот, — сказал дьяк. И больше ничего не прибавил, и снова взял перо.

Вешняков посмотрел на него долго, без злобы, внимательно, как смотрел два года назад на медную копейку под своим немецким стеклом. Потом сказал:

— Это, Кирилл Матвеевич, в сыск не идёт.

— Знаю, что не идёт, — сказал дьяк. — Я тебе не в сыск. Я тебе так.

К вечеру Вешняков с Кочергиным ушли — смотреть отведённый им постой. Пристав ушёл с ними. В избе стало тихо, как бывает тихо в доме, откуда только что вынесли покойника и ещё не решили, что с ним делать.

Дьяк сидел за столом. Потом позвал:

— Тимофей Андреевич.

Ершов подошёл.

— Ты его знаешь, — сказал дьяк. Это был не вопрос.

— Знаю. Он по меди тут был. Мы вместе тогда...

— Знаю, что вместе. — Дьяк смотрел не на него, а на свою букву «к», обведённую пять раз. — Честный?

Ершов подумал.

— Честный.

— Это хуже, — сказал дьяк. Он положил перо. — Ты в воскресенье женишься.

— В воскресенье.

— Я у тебя посажёным отцом.

— Вы.

Дьяк помолчал.

— Может, другого позовёшь? — сказал он. — Сурина. Или губного. Губной рад будет, он на свадьбах пляшет.

Ершов стоял и смотрел на него.

— Нет, — сказал он.

— Подумай. Тебе в этой избе ещё служить. А Вешняков на свадьбе всё увидит. Кто с кем сидит. Кто кому чашу подаёт.

— Пусть видит.

Дьяк поднял на него глаза. Посмотрел. И Ершов увидел то, чего не видел за три года ни разу: дьяк не знал, что сказать.

— Ну, смотри, — сказал дьяк наконец. — Твоя свадьба.

Ершов шёл по двору кремля к воротам, и у ворот, в тени, на каменной тумбе сидел Вешняков. Один. С ларцом на коленях. Ждал. Увидел Ершова, встал.

— Тимофей Андреевич.

— Ефим Ларионович.

Они постояли. Два года назад они расстались у схода струга, и Вешняков сказал тогда про клопов у губной свояченицы, и Ершов его с тех пор вспоминал — не часто, но так, как вспоминают человека, с которым было легко молчать.

— Слышал, женишься, — сказал Вешняков.

— В воскресенье.

— На Кондратьевой.

— На ней.

Вешняков кивнул, будто это было ему известно и раньше и он только проверил.

— Её в списке нет, — сказал Ершов.

— Нет.

— Почему?

Вешняков подумал. Ершов видел, что он думает, сказать или нет, и что решает — сказать, потому что не сказать было бы хуже.

— Потому что ты на ней женишься, — сказал Вешняков. — Её в челобитной назвали. Я список правил на струге и из первых её вычеркнул. Не за неё — за тебя. Чтоб потом не сказали, что я жену подьячего первой позвал, чтоб на мужа давить. — Он помолчал. — Дойдёт до неё — позову. Не дойдёт — не позову.

Ершов молчал.

— Ты посажёным отцом его взял, — сказал Вешняков. — Дьяка.

— Его.

— Знаю. Пантелей сказал. — Вешняков переложил ларец из одной руки в другую. — Это ты зря.

— Может, и зря.

— Не отменишь?

— Нет.

Вешняков посмотрел на него, и что-то в его лице, сухом и твёрдом, на миг сдвинулось — то ли усмешка, то ли нет.

— Ты не меняешься, — сказал он.

— А ты?

— Я — меняюсь, — сказал Вешняков. — Мне за это жалованье прибавили.

Он надел шапку.

— Позовёшь? — спросил он вдруг. — На свадьбу.

Ершов не ответил сразу.

— Не зови, — сказал Вешняков. — Не надо. Тебе потом скажут, что ты сыщика звал, а мне скажут, что я к дьяку на пир ходил. — Он повернулся уходить, и обернулся. — Где тут у вас нынче постой почище? Нас опять к губной свояченице поставили.

— И что?

— Клопы, — сказал Вешняков. — Те же. Узнали меня.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Кожевенная слобода

Кирилл Ухов вынимал кожи из зольника, когда во двор вошёл чистый человек.

Это было первое, что Ухов про него подумал: чистый. В Кожевенной слободе чистых не бывало. Здесь всё было в извести, в дубье, в шерсти, в жиже, которая натекала из чанов и стояла лужами до самого Булака; здесь пахло так, что даже собаки, прибившиеся из города, через неделю либо уходили обратно, либо переставали нюхать вообще. Здесь ходили в сапогах, которые не жалко, и в портах, которые не жалко, и руки у всех были до локтя рыжие от дубья или белые, в трещинах, от извести.

Чистый человек был в синем кафтане, в сапогах, которые жалко, и с кожаной сумой через плечо. Он остановился у ворот, посмотрел на двор, на чаны, на вкопанный в землю зольник, на Ухова, который вытягивал длинным крюком из белёсой известковой жижи тяжёлую бычью кожу, — и не зажал нос. Ухов это заметил. Все, кто приходил с города, зажимали нос или хотя бы отворачивались. Этот не зажал. Только дышать стал чуть реже.

— Кирилл Ухов? — спросил он.

— Я.

— Савва Кочергин. Подьячий. При государевом сыщике, при Ефиме Ларионовиче Вешнякове. — Он поклонился, коротко и учтиво. — Мне бы с тобой поговорить. Не спеши. Доделай, что делаешь.

Ухов посмотрел на него, на крюк в своих руках, на кожу, которую держал крюком, — третий день в извести, с шерстью, которая уже лезла клочьями, — и перевалил её через борт чана на доски. Вытер руки о передник, отчего руки не стали чище, а передник грязнее.

— Про дьяка, — сказал он. Это был не вопрос. Вся слобода со вчерашнего дня знала, зачем приехал москвич.

— Про дьяка, — согласился Кочергин. — Только ты не пугайся. Ефим Ларионович в понедельник позовёт, при себе расспросит, по закону, как положено. А я наперёд пришёл. Чтоб ты знал, о чём спросят, и не сбился. Люди, когда не знают, о чём спросят, путаются. А путаются — им же хуже.

Ухов посмотрел на него ещё раз. Подьячий был молодой, с лицом приятным и внимательным, и смотрел прямо, и говорил ласково, без московского высокомерия, которого Ухов ждал. Ухов подумал, что, может, оно и правда — к лучшему, что наперёд.

— Ну, пойдём в избу, — сказал он. — Тут тебе дышать нечем.

— Мне везде есть чем, — сказал Кочергин и улыбнулся. — Пойдём.

Он пошёл через двор за Уховым, и Ухов, оглянувшись, увидел, что подьячий обходит зольник широко, по самому краю двора, вдоль тына, и смотрит под ноги. Борт у чана был низкий, вровень с землёй, в ладонь, и чужие всегда норовили прямо и потом скакали на одной ноге, ругаясь. Этот обходил так, будто сразу понял, где чан, и запомнил.

В избе было лучше, но ненамного. Прасковья, Ухова жена, сидела у окна и шила что-то яркое, красное с жёлтым, и, увидев гостя, встала, поклонилась и, ничего не спрашивая, ушла за перегородку. Ухов слышал, как она там села и как перестала шить.

Кочергин сел на лавку. Раскрыл было суму, посмотрел в неё — и закрыл.

— Писать не буду, — сказал он. — Так поговорим. Чтоб ты знал, о чём спросят. — Он сложил руки на коленях. — Ты дьяку давал?

Ухов помолчал.

— Давал, — сказал он.

— Сколько раз?

— Да кто ж считал. — Ухов сел напротив, на чурбак. — Как дело какое в избе — так и давал. Все давали.

— Все, — согласился Кочергин. — Это я знаю. Ты не один. Ты не бойся. За что давал?

Ухов стал вспоминать. Он вспоминал медленно, потому что не любил вспоминать. Три года назад — когда сосед-кожевник Гаврила Малыгин подал на него челобитную, что Ухов ему в огород жижу пустил, и капуста посохла. Ухов дал дьяку, и дело решили за неделю, полюбовно, а без того тянулось бы до Филиппова поста. Два года назад — когда с него хотели постой ставить, стрельцов, а у него изба одна и жена. Дал — и стрельцов поставили к Малыгину. Ухов, вспоминая это, чуть усмехнулся. Прошлой зимой — когда пошлину за кожи считали поновому, медью, и насчитали вдвое, и он пошёл в избу, и дьяк пересчитал, и вышло как надо, — а потом он дьяку дал. Не за то, что пересчитал, а так. В благодарность.

— Сколько давал? — спросил Кочергин. — Каждый раз?

— Рубль. Иной раз два. Иной раз полтину. Ну, кожу хорошую. Сапоги ему шили из моей кожи. — Ухов подумал. — Всего — рублей, может, двенадцать. За пять лет. Ну, пятнадцать.

— Пятнадцать деньгами. А кожа? Сапоги?

— Кожа — что кожа.

— Кожа денег стоит. — Кочергин считал вслух, негромко, загибая пальцы, и Ухов, сам того не желая, стал загибать вместе с ним. — Рублей двадцать выходит. Ладно. А сколько ты через него сберёг? Стрельцов к соседу поставил — это зима постоя, двое, рублей восемь. За капусту Малыгину не платил — суд бы присудил рубля три. Пошлину тебе пересчитали — сколько там было лишку? — Он не ждал ответа. — Ты не просто давал, Кирилл. Ты у него неправый суд покупал. Стрельцов на соседа. Капусту соседову. Это всё купленное.

Ухов сидел. Он об этом так не думал. Ему казалось, что он давал, как все дают, чтоб не тянули. А выходило, что он купил у дьяка Малыгина, и Малыгиных стрельцов, и Малыгину капусту.

— Ты знаешь, что за это бывает? — спросил Кочергин мягко. — По Уложению и того, кто дал, бьют.

Ухов не знал. За перегородкой Прасковья перестала дышать — Ухов услышал, что перестала.

— Бьют, — повторил Кочергин. — Если давал своей волей. Если покупал. — Он помолчал. — А если он тебя вынудил — правезом устрашал, волокитой, стрельцами, — тогда ты не покупал. Тогда с тебя взяли. Это разное. За это не бьют. За это жалеют. — Он смотрел Ухову в глаза. — Тебя вынудили?

Ухов молчал.

— Он тебе говорил — не дашь, на правёж поставлю?

Ухов подумал. Дьяк ему ничего такого не говорил. Дьяк вообще мало говорил. Дьяк брал деньги, клал в ящик стола, не пересчитывая, и кивал. Но правёж — правёж в Казани был, все знали, зимой у приказной избы стояли, кто недоимку не отдал, и их били по ногам батогами каждое утро, и все знали, что можно не стоять, если сходить к дьяку.

— Не говорил, — сказал Ухов. — А все знали.

— Все знали, — повторил Кочергин. — Что дьяк правезом устрашает. Это и есть — говорил. Не словами, так делом. — Он кивнул, будто они наконец договорились. — Вот и выходит: всего, со стрельцами и с капустой, на полсотни. И не ты покупал — он брал, правезом и волокитой устрашая. Так?

— Я полсотни не давал.

— Ты не о деньгах думай. Ты о том думай, сколько он с тебя взял. В понедельник Ефим Ларионович спросит — так и скажешь.

— Как?

Кочергин повторил медленно, по словам, как повторяют ребёнку молитву:

— «Взял с меня почестями и поминками на полсотни. Правезом и волокитой устрашал».

Ухов повторил. С первого раза сбился: сказал «поминками и почестями», и про правёж забыл. Кочергин поправил. Со второго вышло ровно.

— Вот, — сказал Кочергин и встал. — А ты боялся. — Он взял суму. — В понедельник. К Ефиму Ларионовичу. Скажешь, как здесь сказал. И ничего не бойся. Тебе ничего не будет. Ты не покупал — с тебя взяли.

Он поклонился, учтиво, коротко, и вышел. Ухов видел в окно, как он идёт через двор — опять по краю, вдоль тына, в обход чана, глядя под ноги, — и как у ворот посторонился, пропуская бочку.

Бочку вёз Василий-водовоз, крещёный татарин из Новокрещенской слободы, рыжий мерин в оглоблях, сам Василий рядом, босой, с вожжами через плечо. Василий возил в слободу воду каждую субботу: кожевникам воды надо много, в чаны, а колодцы в слободе были такие, что пить из них не стала бы и собака, прибившаяся из города. Он остановился у ворот, поздоровался с Уховым по-своему, кивком, и стал наливать в чан у тына.

Ухов вышел к нему. Постоял. Посмотрел на бочку, на мерина, на Василия.

— Завтра привезёшь? — спросил он.

— Завтра не могу, — сказал Василий. — Завтра у меня свадьба.

— Твоя?

— Не моя. — Василий засмеялся. — Кондратьевой. Подьячего Ершова. Меня наняли. Воду возить. Весь день и всю ночь. Полтину дают. — Он подумал. — Медью.

— Мне к ночи два чана долить надо, — сказал Ухов. — Кожи стоят. В понедельник поздно.

Василий подумал, глядя в чан.

— К ночи привезу, — сказал он. — Как за последней бочкой к Булаку поеду. Мне всё одно мимо. — Он кивнул. — Как гости разойдутся. Поздно будет.

— Поздно и ладно. Ворота оставлю.

— Копейку, — сказал Василий.

— Копейку, — согласился Ухов.

Прасковья вышла из-за перегородки, когда Василий уехал. Она стояла у окна, держа в руках своё яркое, красное с жёлтым, — Ухов теперь разглядел: это был платок, новый, праздничный, — и смотрела на мужа.

— Ты пятьдесят не давал, — сказала она.

— Не давал.

— Пятнадцать давал.

— Ну, пятнадцать.

— А ему сказал.

Ухов сел на лавку. Посмотрел на свои руки.

— Он говорит, так считать надо, — сказал он. — Со стрельцами. И за дачу, говорит, бьют.

— А за ложь не бьют?

Ухов не ответил.

— В понедельник, — сказала Прасковья, — чьими словами говорить будешь? Своими или его?

Ухов молчал.

Прасковья постояла. Потом развернула платок, встряхнула и посмотрела на него против окна.

— Я завтра пойду, — сказала она. — К Аграфене Петровне. Она меня звала. Я у неё соль беру шестой год, на кожи. Она меня всегда первую отпускает.

— Иди.

— А ты?

— У меня кожи, — сказал Ухов. — Их переворачивать надо. Утром и к ночи. И Васька воду привезёт, ворота открыть надо. — Он помолчал. — Иди одна. Скажешь — Кирилл кланяется.

Прасковья сложила платок.

— Подумай до понедельника, — сказала она.

— Подумаю.

К вечеру потянуло с Казанки. Ветер был сухой, тёплый, с пылью, и гнал по слободе кло-чья шерсти, вычесанной из кож, и они катились по дороге, как перекасти-поле, и цеплялись за тыны. Прасковья сняла с забора бельё, чтобы не запылилось, и, снимая, ругала ветер, и пыль, и слободу, и Малыгина, у которого бельё висело третий день и которого ветер, видно, не касался. Ухов стоял у зольника и смотрел в чан, на кожи, белые от извести, и думал, сколько всё-таки дал дьяку: пятнадцать или полсотни, и почему утром знал, а теперь уже не знал.

Потом взял крюк и стал переворачивать кожи.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Свадьба

Гостей пришло шестьдесят один.

Аграфена сосчитала их в церкви, со своего места у аналая, пока священник читал, — не нарочно, а потому что не могла не сосчитать: глаза сами шли по головам, слева направо, ряд за рядом, как идут по мешкам. Шестьдесят один, не считая детей, которые бегали по паперти, и не считая Тихона, который стоял в притворе и сморкался. Марфа Кузьминишна, стоявшая у самого аналая, поймала её взгляд и чуть заметно кивнула, будто знала, что считают, и что сосчитали, и что она, Марфа, была права.

Вешнякова среди них не было. Кочергина тоже: Ершов не позвал обоих, как Вешняков и просил.

Ершов стоял рядом с Аграфеной и смотрел на свечу в своей руке. Свеча была толстая, ярого воска, — дьяк прислал, сказал: «посажённый отец свечи даёт», — и капала ему на пальцы, и он не замечал. Он не помнил потом, что пел дьячок, и что читал священник, и как он сам отвечал, — помнил только, что надо было отвечать, и он отвечал, и голос у него был чужой, громкий, будто читал за кого-то челобитную. И помнил, что Аграфена рядом стояла ровно, прямо, не шелохнувшись, в новом летнике тёмно-вишнёвом, и что на ней был убрус, вышитый Ганной, белым по белому, и что от неё пахло не солью, как всегда, а чем-то другим, сухим, травяным, — он не знал чем.

Венцы священник возложил им на головы.

Ибрагим стоял с Ершовой стороны, Марфа Кузьминишна — с Аграфениной.

Ибрагим был дружкой. Это решилось не сразу. Марфа сказала, что дружка должен быть свой, православный, посадский, а не татарин. Аграфена сказала, что Ибрагим крещёный. Марфа сказала, что крещёный — не значит свой. Ершов сказал, что у него в Казани своих три человека, и один из них Ибрагим, а двое других — Акулина и дьяк, и Акулина в дружки не годится, а дьяк уже посажёным. Марфа поджала губы и сказала, что делайте как знаете, а она умывает руки, — и с того дня распоряжалась всем.

Ибрагим держал Ершова под руку — не потому, что тот мог упасть, а потому, что так полагалось дружке, — и смотрел прямо перед собой, на иконостас. Лицо у него было такое, будто он переводил что-то очень трудное с языка, которого не знал. Марфа держала Аграфену с другой стороны и следила сразу за священником, молодыми и обоими венцами, словно и венчанием распоряжалась она.

Потом пели. Потом вели вокруг аналая. Потом было «целуйтесь», и Ершов поцеловал её, и это было в первый раз, и при шестидесяти одном человеке, не считая детей и Тихона.

Потом вышли на паперть, и там их осыпали хмелем и рожью, и мелкими медными деньгами, и дети кинулись подбирать деньги, а Сенька, который стоял ближе всех, подобрал больше всех и потом весь день отдавал по одной тем, кто у него просил.

Пир был у Аграфены.

Так решили, потому что у Ершова дома не было: был угол у Акулины и сундук. Марфа сказала, что это против обычая — жена мужа в свой дом берёт, а не он её в свой. Аграфена сказала, что у неё двор, а у него сундук, и сундук она возьмёт, и пусть Марфа посчитает, что больше. Марфа посчитала и замолчала.

Столы поставили во дворе, под навесом и на солнце, — три стола, по двадцать человек, на лавках, а кому не хватило — на кадках, на чурбаках, на перевёрнутом корыте. Тихон с утра натаскал воды, сколько смог, и к полудню колодец был пустой, как Марфа и обещала, и Василий-водовоз с рыжим мерином стал возить с Булака, бочка за бочкой, и каждый раз, въезжая во двор, кричал: «Вода!» — как кричат на торгу, и гости кричали ему в ответ, и после третьей

бочки это стало обычаем, и после десятой Василию налили пива, и он выпил, перекрестившись, и сказал, что крещёный, ему можно.

Первый стол был холодный. Рыба, студень, пироги с капустой, с вязигой, с горохом. Посажёный отец сидел во главе, справа от молодых, и это было место, на которое смотрели все.

Дьяк сидел прямо, в праздничном, в тёмно-синей ферязи, и держал чашу, и улыбался — не широко, а так, как улыбается человек, который знает, что на него смотрят, и знает почему. Весь посад уже знал, зачем приехал Вешняков. И весь посад смотрел, как дьяк сидит посажёным отцом у подъячего, и что он ест, и что пьёт, и с кем говорит. Дьяк ел мало, пил мало, говорил с Сурином о соли и с губным о погоде. С Ершовым не говорил ничего: посажёному отцу на пиру говорить с молодым не о чем, его дело благословить и сидеть.

Благословил он их ещё утром, до церкви, иконой — старой, тёмной, Казанской, своей, — и, благословляя, сказал Ершову тихо, так что никто, кроме Аграфены, не слышал:

— Чаши Сурину вернёшь — пересчитай. Он считает.

Это было всё, что он сказал. Аграфена потом, за столом, наклонилась к Ершову и сказала, что посажёный отец у него хороший, дело говорит, — и Ершов не понял, смеётся она или нет.

Каравай резали после первого стола, когда солнце стояло ещё высоко, но уже за полдень. Каравай был на шестьдесят. Марфа резала сама, большим ножом, и раздавала, и каждому говорила что-нибудь — кому «на здоровье», кому «на богатство», кому «тебе бы самому пора», — и Сурина, который взял свой кусок молча, сказала: «Не век же тебе вдовствовать, Анисим Ильич», — и Сурин, жуя, ответил: «Ты мне, Марфа Кузьминишна, не сватай. Ты мне уже раз сватала». И все за столом засмеялись, потому что все знали, кого Марфа ему сватала, — а Сурин не засмеялся, и Аграфена не засмеялась, и Ершов посмотрел на Сурина, и Сурин посмотрел на него и чуть кивнул, как кивают знакомому по делу.

Прасковья Ухова подошла к Аграфене после каравая. Она была в новом платке, красном с жёлтым, и в праздничной душегрее, которая была ей тесна, и кланялась низко, и подала Аграфене подарок — пару рукавиц, кожаных, мягких, белых, выделанных так, что кожа была как полотно.

— Кирилл кланяется, — сказала она. — Сам не пришёл. Кожи у него. Да и к ночи Васька ему воду привезти обещал. А рукавицы сам выделал. Для тебя. Говорит: соль таскать — руки беречь.

Аграфена взяла рукавицы, повертела, надела одну. Рукавица села как своя.

— Скажи Кириллу — спасибо, — сказала она. — Хорошие.

— Скажу. — Прасковья помолчала. Видно было, что она хочет сказать ещё что-то и не знает, как. — Он нынче утром мне сказал — в понедельник, говорит, своими словами скажу. — Она посмотрела на Аграфену. — Ты не знаешь, про что это?

Аграфена знала, про что. Весь посад знал, про кого в понедельник спрашивать будут.

— Знаю, — сказала она.

— Ну вот. Своими, говорит. — Прасковья кивнула. — А после обедни ушёл куда-то. Не сказал куда. Я уж к тебе пошла, его не дождалась. — Она поклонилась ещё раз. — Я до свету останусь, Аграфена Петровна. Посуду мыть помогу. У тебя народу много, а Фёкла твоя одна.

— Оставайся, — сказала Аграфена.

Второй стол был горячий, и подавали его, когда солнце уже садилось и тени от навеса легли через весь двор до ворот. Щи, уха, баранина, каша. Губной снял кафтан и плясал. Он плясал один, посреди двора, между столами, тяжело, с притопом, держа руки на поясе, и лицо у него было серьёзное, сосредоточенное, как у человека, который делает важную работу, и все хлопали, и кто-то из Гладышевых, пришедших незваными посмотреть, крикнул «Давай, губной!» — и губной, не переставая плясать, ответил: «Даю», — и плясал ещё.

Дьяк ушёл после второго стола.

Он встал, когда губной кончил плясать и, отдуваясь, сел на перевёрнутое корыто, — встал, поклонился молодым, поклонился гостям и сказал, что ноги у него не те, а завтра в избу, и что посажённому отцу до конца сидеть не обязательно, обычай не велит. Марфа сказала, что обычай как раз велит, но дьяк улыбнулся ей так, что она замолчала.

Ершов вышел проводить его до ворот.

У ворот дьяк остановился. Был уже вечер, тёплый, тёмно-синий, и с Казанки тянуло сухим ветром, и пыль на дороге шевелилась.

— Факел возьмите, — сказал Ершов. — Темно.

— Дойду, — сказал дьяк. — Я этой дорогой двенадцать лет хожу. — Он посмотрел на Ершова. — Иди к жене. Тебя там Марфа ждёт, у неё на тебя ещё полночи распорядков.

Он пошёл. Один, без слуги, без факела, по Бакалде вверх, к кремлю. Ершов смотрел ему вслед, пока тёмно-синяя ферязь не слилась с темнотой.

Потом был третий стол, сладкий, — мёд, пряники, орехи, вишня в патоке, — и было уже темно, и во дворе зажгли факелы, и кто-то принёс гудок, и Сенька, которого никто не просил, пел. Он пел плохо, громко и долго, и все слушали, потому что перебить его было неловко, а Акулина, сидевшая рядом с Ершовым на месте, которое ей никто не отводил, плакала, — не от песни, а так, от всего, — и вытирала глаза концом платка и говорила: «Ты не смотри. Это я так. Это у меня от мёда».

Ибрагим, как дружка, ходил между столами с чашей и следил, чтобы у всех было налито, и сам не пил, потому что дружка пьяным быть не должен, — это ему Марфа сказала три раза, — и к третьему столу лицо у него было страдальческое.

— Ты держись, — сказал ему Ершов, когда тот проходил мимо.

— Я держусь, — сказал Ибрагим. — Вон Васька пьёт, а я держусь. Он водовоз, ему можно. А я дружка, мне нельзя. — Он посмотрел на ворота, в которые как раз въезжала очередная бочка, и Василий, стоя на передке, кричал «Вода!», и гости отвечали «Вода!», уже вяло, по привычке. — Это которая?

— Не знаю.

— Двадцать третья, — сказала Аграфена, не оборачиваясь. — Ещё одна, и хватит. Посуду мыть.

Василий слез с передка, налил в кадки, подошёл к столу, где сидели молодые, и поклонился — неловко, по-своему, всем телом.

— Хозяйка, — сказал он. — Последняя будет. Потом мне к Ухову. Ему два чана долить надо, к ночи. Я обещал.

— Езжай, — сказала Аграфена. — Последнюю привези — и езжай. Полтину утром отдам. Василий поклонился ещё раз и ушёл к мерину.

Молодых увели, когда третий стол ещё не кончился.

Это сделала Марфа. Она встала, хлопнула в ладоши — так громко, что Сенька перестал петь на полуслове, — и сказала, что пора. Гости закричали, засвистели, губной встал с корыта и запел что-то такое, отчего бабы за столами закрыли лица платками и засмеялись, и Марфа взяла Аграфену за руку, а Ибрагим — Ершова, и их повели через двор, в сенник, мимо дальнего амбара, мимо крайнего, Сабуровского, пустого, с замком, мимо Мурки, которая сидела у его ворот и смотрела на факелы.

Сенник был холодный, тёмный, с одним оконцем под крышей. Постель была высокая, посланная на снопах — ржанных, сухих, так что от неё пахло полем. Марфа, проводив их до двери, втокнула внутрь, перекрестила, сказала что-то быстрое и непонятное, — Ершов не разобрал, — и закрыла дверь снаружи. Было слышно, как она подпирает её колом.

Они стояли в темноте.

С двора доносились голоса, смех, кто-то снова завёл песню. Губной, кажется, опять плясал — было слышно, как притопывает.

Аграфена сняла убрус. Ершов слышал, как она его снимает, — шуршание ткани в темноте, — и как складывает, аккуратно, вчетверо, как складывала всё.

— Шестьдесят один, — сказала она.

— Что?

— Гостей. Шестьдесят один. Марфа говорила — шестьдесят. — Она помолчала. — Я у неё выиграла.

— Ты с ней спорила?

— Про себя.

Ершов засмеялся. Он не знал, что засмеётся, — это вышло само, в темноте, в холодном сеннике, на собственной свадьбе. Аграфена тоже засмеялась, тихо.

Потом она сказала:

— Сядь. Стоишь, как в избе.

Он сел на край постели. Снопы под ним хрустнули.

Где-то далеко, за крышами, за Бакалдой, над Булаком, ударили в колокол.

Один раз. Потом, через долгий миг, ещё. И потом часто, часто, не переставая, — так, как бьют только в одном случае.

ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ

Цепь

Дверь не открывалась.

Ершов толкнул её плечом, потом ещё раз, сильнее, и снаружи что-то скрипнуло и упёрлось. Кол. Марфа подпёрла на совесть, как подпирала всё.

— Эй! — крикнул он. — Откройте!

Колокол бил. Со двора доносился топот, крики, кто-то звал Тихона, кто-то — вёдра, грохнула об землю лавка. Потом хлопнули ворота, и голоса стали уходить, все в одну сторону, вниз, к Булаку.

— Не кричи, — сказала Аграфена в темноте. — Все убежали.

— Марфа...

— Марфа первая и убежала. У неё сестра на Булаке.

Он слышал, как она шарит руками по стене, по брёвнам, в дальнем углу, за постелью. Снопы хрустели.

— Здесь, — сказала она. — Иди сюда. Внизу доска гнилая, я Тихону третий год говорю. Бей ногой.

Ершов нашёл в темноте её руку, по руке — стену, по стене — доску. Доска была мягкая, сырая снизу. Он ударил каблуком раз, и два, и на третий она подалась и вывалилась наружу, в крапиву, вместе с трухой, и в сенник потянуло ночным воздухом — и дымом.

Он полез первым, и застрял плечами, и вылез, ободрав свадебный кафтан о гвоздь. Аграфена вылезла за ним легче, боком. Встала, отряхнулась. Голова у неё была непокрыта, и она стояла так секунду, простоволосая, посреди крапивы, — потом молча пошла к дому, сдёрнула с перил чей-то платок, Фёклин, серый, будничный, и повязала, не глядя.

— Потом заделаешь, — сказала она про доску.

Двор был пустой. Столы стояли, как стояли, с недоеденным, с опрокинутыми чашами, факелы догорали в держаклах. Фёкла бегала от стола к столу и собирала чаши в подол, и Ершов не сразу понял зачем.

— Суринские, — сказала Фёкла, не останавливаясь. — Растащат.

Над крышами, за Бакалдой, небо было не чёрное. Оно было рыжее снизу, как бывает перед рассветом, только рассвет был не там и не в тот час.

Аграфена посмотрела туда. Ершов видел, как она считает: сколько до Булака, откуда ветер, чьи дворы.

— Кожевнная, — сказала она. — Или за ней.

— Почём знаешь?

— Ветер с Казанки. Дым на нас не идёт, идёт от нас. Значит, ниже. — Она повернулась. — Тихон! — Тихона не было. — Вёдра все взяли?

— Все, — сказала Фёкла. — И кадки бы взяли, да тяжёлые.

— Бадью колодезнуюними. И пойдём.

Ершов хотел сказать, чтобы она оставалась, — и не сказал. Она уже снимала бадью с журавля.

Бакалда вниз была полна народу. Бежали с вёдрами, с баграми, с топорами, бежали просто так, смотреть. Баба несла икону, прижав к груди, и шла быстро, мелко, и губы у неё шевелились. Мужик тащил на спине сундук — в другую сторону, вверх, от огня, хотя огонь был далеко, — и все его толкали, и он ругался. Какой-то мальчишка обогнал Ершова, сверкая пятками, и крикнул на бегу, ни к кому: «Кожевники горят!» — радостно, как кричат «лёд пошёл».

Впереди, шагах в двадцати, Ершов увидел в толпе платок — красный с жёлтым. Женщина бежала, подобрав подол, и её никто не обгонял.

— Ухова, — сказала Аграфена. — Прасковья. Её слобода.

Больше она ничего не сказала, и они побежали.

С моста через Булак было видно всё.

Горела Кожевенная — не вся, но та её часть, что ближе к воде, улица и проулки. Горело не столбом, а низко, широко, — горели кровли, тёс и солома, и сено на сеновалах, и огонь шёл по ним, как идёт по сухой траве, скачками. Ветер дул с Казанки ровно, не порывами, а так, будто его кто-то нёс, — и нёс искры, и галки горящего тёса, и клочья горящей шерсти, той самой, вычесанной из кож, — Ершов видел, как они летят над улицей, лёгкие, яркие, и садятся на соседние крыши, и на крышах вспыхивают маленькие огни, и люди на крышах бьют по ним мокрыми метлами и не успевают.

Пахло так, что Ершов задохнулся. Не дымом — дымом пахло тоже, — а палёной кожей, шерстью, жиром, известью. Слобода горела всем, чем жила.

Цепь уже стояла. От воды вверх по берегу, по проулку, к горящей улице — люди, плечом к плечу, и ведра шли по рукам вверх, полные, и сбоку вниз, пустые, по второй цепи, которая стояла рядом и которую никто не строил, — она построилась сама. У воды, по колено в Булаке, стояли черпальщики. Их было мало.

— Сюда! — крикнул кто-то. — Сюда, к воде! Кто с ведрами — к воде!

Ершов спустился с берега и вошёл в Булак.

Вода была тёплая, как суп, и вонючая, — Булак здесь всегда был такой, сюда сливали из чанов, — и дно было мягкое, вязкое, и ноги в свадебных сапогах сразу ушли в ил по щиколотку. Ему сунули ведро — чужое, деревянное, с верёвочной ручкой. Он зачерпнул и подал. Ведро ушло наверх. Ему сунули пустое. Он зачерпнул и подал.

Аграфена встала третьей от воды. Он видел её, оборачиваясь: серый Фёклин платок, рукава закатаны до локтя, лицо спокойное, как за прилавком. Она принимала ведро снизу и подавала вверх, ровно, не расплёскивая, и между ведрами успевала что-то сказать соседу, — Ершов не слышал что, — и сосед, здоровый мужик из слободских, кивал и начинал подавать ровнее.

Зачерпнул. Подал. Пустое. Зачерпнул.

Через какое-то время — он не знал через какое — он перестал думать. Руки делали сами. Плечи сначала болели, потом перестали. Он видел только воду, чёрную, с рыжими бликами от огня, и ведро, и руку, которая ведро забирала. Рука менялась — то мужская, то женская, то совсем мальчишеская, — люди в цепи уставали и уходили, и на их место вставали другие.

Один раз, когда он поднял голову, рядом с Аграфеной в цепи стоял Вешняков.

Без шапки, в одной рубахе, кафтан, видно, где-то бросил. Он принимал ведро от Аграфены и подавал дальше, и делал это так же, как делал всё, — точно, без лишнего движения, без суеты, будто считал ведра. Он не смотрел на Ершова. Ершов видел, как Аграфена что-то сказала ему, коротко, и как он ответил, тоже коротко, не повернув головы.

Губной пришёл, когда огонь перекинулся через проулок.

Ершов узнал его по голосу раньше, чем увидел: голос был тот же, которым губной кричал «Даю!» на свадьбе, только теперь в нём не было ничего весёлого. Губной был трезв. Ершов не понимал, как можно было так протрезветь за час, — но губной был трезв, и в рубахе, мокрой насквозь, и с ним были стрельцы с баграми, человек десять, и он гнал их вверх, по проулку, туда, где горело. Губной не был им начальником, но другого начальника рядом не оказалось, и стрельцы слушались.

— Не на огонь лей! — кричал губной. — Что горит — то сгорело! На соседнее лей! Крыши мочи! Кошмы на крыши!

Цепь дрогнула и переломилась. Ведра пошли не туда, куда шли, а вбок, к дворам, которые ещё не горели. Кто-то потащил на крышу мокрую кошму. Кто-то — рогожи.

— Малыгин двор, — сказал губной стрельцам. — Разметать.

— Не дам! — Это был Малыгин, Ершов узнал его не сразу: маленький, чёрный от копоти, в одних портах, с ведром в руке. — Не дам! Он не горит!

— Сейчас загорится.

— Не загорится! Мы мочим!

— Разметать, — сказал губной.

Стрельцы пошли с баграми. Малыгин бросил ведро и встал в воротах, раскинув руки, и губной взял его за плечо и отодвинул, как отодвигают дверь. Багры вошли под стреху. Затрещало.

— Бельё! — закричал Малыгин. — Бельё хоть дайте снять!

Бельё висело на верёвке через двор — рубахи, порты, полотенце, — и Ершов, стоя по колено в Булаке, видел его отсюда, белое на рыжем, и видел, как Малыгин бросился к нему, и как над бельём, медленно, лениво, пролетел горящий клочок шерсти, и опустился на верёвку, и бельё занялось всё сразу, от края до края, будто его этого ждало.

Малыгин стоял и смотрел.

Потом подобрал своё ведро и пошёл в цепь.

Двор Малыгина разметали. Не помогло. Ветер перенёс огонь через раскатанные брёвна, через проулок, на следующую улицу, и там тоже были сено, и тёс, и солома, и сухое лето. Губной велел разметать ещё два двора. Хозяева не спорили: их не было, они таскали воду.

Ершова сняли с воды, когда стало ясно, что цепь до верхней улицы не дотягивает.

— Ты, — сказал ему стрелецкий десятник, ткнув пальцем. — Подьячий? Багор умеешь?

— Нет.

— Научишься. Пошли.

Он вылез из Булака. Сапоги были полны ила, он их не снимал. Аграфена посмотрела на него, когда он проходил мимо цепи, — посмотрела, не сказала ничего, приняла ведро, подала дальше.

Наверху, в проулке, было жарко так, что кожа на лице стягивалась. Огонь был близко — за два двора, за один, — и гудел, как печь, когда открывают заслонку, только не переставая. Ершову дали багор. Он был тяжёлый, длинный, с мокрым древком. Надо было зацепить им за край горящей кровли и тянуть на себя, чтобы тёс падал во двор, а не на соседнюю крышу, — так ему объяснили в двух словах и поставили.

Рядом с ним, ближе к огню, тянул другой багор Кочергин.

Ершов узнал его не по лицу — лица было не разглядеть, оно было чёрное, и только глаза светились белым, — а по голосу, который он слышал позавчера в избе, звонкий, чистый, читающий государеву грамоту. Теперь голос был хриплый, сорванный.

— Тяни! — крикнул ему Кочергин. — Вместе! Раз!

Они потянули вместе. Край кровли затрещал, подался и пополз, и тёс посыпался во двор, горящий, с искрами, и Кочергин отскочил, и Ершов отскочил, и оба засмеялись — коротко, глупо, оттого что живы.

Кочергин был в одной рубахе, мокрой, порванной на плече. Без кафтана. И в одном сапоге: левая нога у него была босая, чёрная, в золе и в грязи до колена.

— Сапог где? — крикнул Ершов.

— В Булаке! — крикнул Кочергин. — Увяз! Не до него!

Он снова закинул багор. Он работал так, как работают молодые и сильные, когда им страшно и некогда бояться: зло, весело, без оглядки, лез ближе всех к огню, и стрелецкий десятник дважды хватал его за ворот и оттаскивал, и дважды Кочергин вырывался. Ершов смотрел на него и думал, что Вешняков, видно, знал, кого брать.

Когда их поставили в верхнюю цепь передавать вёдра на крышу, Кочергин, приняв ведро, макнул в него правую руку по запястье, потёр и передал дальше. В следующий раз сделал то же самое.

— Не мой! — крикнул на него кто-то сверху, с крыши. — Лей давай! Руки он моет!

— Обжѐг, — сказал Кочергин и подал ведро.

Ибрагима Ершов увидел только раз за всю ночь, и тот был не в цепи.

Он вышел из ворот горящего двора — не того, где тянули багры, а соседнего, ниже, — и нёс на руках старуху. Старуха была в одной рубахе, седая, простоволосая, и била его кулаком по спине и кричала что-то по-татарски, — Ершов не понимал, — и Ибрагим нёс её и не отвечал. Он вынес её за ворота, на улицу, поставил на землю, и старуха тут же повернулась и пошла обратно, к воротам, к огню. Ибрагим поймал её за рубаху.

— Сундук! — закричала старуха, уже по-русски, увидев Ершова, будто он мог помочь. — Сундук там!

— Сгорел твой сундук, — сказал Ибрагим.

— Не сгорел! Он кованый!

Ибрагим постоял. Посмотрел на ворота. Потом передал старуху Ершову — просто сунул ему в руки, как ведро, — и пошёл обратно в двор.

Он вышел, когда Ершов уже думал, что не выйдет. Без сундука. С опалённой бородой — половины её не было, левой. Он подошёл, взял у Ершова старуху и сказал ей что-то по-татарски, и старуха перестала биться и заплакала.

— Не дотянулся, — сказал Ибрагим Ершову. — Кровля села.

Он постоял, держа старуху. Потом спросил:

— Ваську не видал?

— Нет.

— Он к Ухову собирался. После последней бочки. — Ибрагим смотрел вверх, туда, где горело. — Ухов двор — там. Первый занялся, говорят.

— Найдётся.

— Найдётся, — сказал Ибрагим. Без веры, как говорят, чтобы сказать.

Он увёл старуху вниз, к воде, где на берегу уже сидели погорельцы — на узлах, на сундуках, на том, что успели вынести. Ершов видел, как он усадил её на чей-то тюфяк и пошёл вдоль берега, заглядывая в лица.

Огонь остановился к рассвету. Не потому, что его потушили, — потому что он дошёл до огородов, до пустыря за слободой, до Булака с другой стороны, и ему стало нечего есть. И ветер упал. Ершов не заметил, когда он упал: просто в какой-то миг понял, что искры больше не летят, а дым идёт вверх, прямо, столбами, и столбов этих много, десятки, и между ними — серое небо.

Он стоял в проулке с ведром в руке. Ведро было пустое. Он не помнил, когда его взял.

Цепи больше не было. Люди сидели где стояли — на земле, на брёвнах, на раскатанных Малыгиных венцах. Кто-то спал сидя. Стрельцы растаскивали баграми головы, чтобы не разгорелись снова, и делали это медленно, без крика. Губной ходил между ними, мокрый, серый, и смотрел на пепелища, двор за двором, и шевелил губами — считал.

Ершов нашёл Аграфену у воды. Она сидела на берегу, на перевёрнутой лодке, и пила из ковши. Кто-то принёс чистой воды с верхнего колодца; вода отдавала дымом и деревом. Когда он подошёл, Аграфена протянула ковш ему. Он выпил.

— Что ты Вешнякову сказала? — спросил Ершов.

— Когда?

— В цепи.

— Он спросил, Кондратьева ли я. Я сказала: Ершова. С сегодняшнего вечера. Он сказал: «Поздравляю». И ведро подал.

— Сорок, — сказал губной, проходя мимо. Ни к кому. — Сорок дворов. Может, сорок один. — Он остановился. Посмотрел на Ершова, на его кафтан, на сапоги. — Ты чего не на свадьбе?

— Так вот она, — сказала Аграфена.

Губной посмотрел на неё, на Ершова, на берег, на дым. Ничего не сказал, кивнул и пошёл дальше считать.

Вешняков подошёл, когда они собирались уходить. Он был в кафтане — нашёл всё-таки, — и кафтан был грязный, а лицо умытое: он, видно, умылся в Булаке, и от этого лицо казалось чужим на грязном теле.

— Тимофей Андреевич, — сказал он. — Аграфена Петровна.

Он помолчал.

— Нынче понедельник, — сказал он. — Расспрос в избе, с полудня. Я посадских звал. — Он посмотрел на слободу, на дымы. — Половина, думаю, не придёт.

— Не придёт, — сказал Ершов.

— Первым у меня кожевник. Ухов. Отсюда, со слободы. — Вешняков говорил ровно, как читал имена в избе. — Савва знает, где живёт. Если увидишь его — скажи, пусть не с утра, а к вечеру. Человеку надо дух перевести.

— Скажу, — сказал Ершов.

Кочергин стоял в трёх шагах, за Вешняковым, и держал его шапку. Он был всё в том же одном сапоге. Он смотрел не на Ершова и не на Вешнякова, а вниз, на воду, на свою босую ногу в иле, и Ершов подумал, что парень, видно, совсем вымотался, — стоит и спит.

Аграфена тоже смотрела — только не на Кочергина. Она смотрела вверх, по проулку, на первые от воды пепелища, где ещё вчера стояли ворота, — и ворота там стояли и теперь, одни, обгорелые, раскрытые настежь, а за ними не было ничего. На земле у ворот сидела женщина в красном с жёлтым платке. Она не плакала. Она сидела, сложив руки на коленях, и смотрела перед собой, и около неё никого не было.

Аграфена поставила ковш на лодку.

— Ты иди, — сказала она Ершову. — Я потом.

И пошла вверх по проулку, к воротам, обходя головни.

Ершов не пошёл за ней. Он постоял, потом пошёл домой один — через мост, по Бакалде вверх, мимо людей, которые шли навстречу смотреть пожарище, свежие, выпавшиеся, в чистых рубахах.

Двор был такой, каким они его оставили. Столы, чаши, догоревшие факелы. Фёкла спала на лавке, обняв подол с Суриновыми чашами. Тихон сидел на крыльце, чёрный, как Кочергин, и спал тоже.

У сенника стояла Марфа Кузьминишна. Она, видно, только что пришла от сестры, — в копоты, с пустым ведром, — и стояла перед дверью, и смотрела на кол. Кол был на месте, подпирал, как она его поставила.

Она увидела Ершова, входящего в ворота. Посмотрела на него. На кол. Опять на него.

— Это как же? — сказала она.

— Сзади, — сказал Ершов. — Доска.

Марфа выдернула кол, открыла дверь и заглянула в сенник. Там было серо от рассвета. Постель стояла высокая, ровная, на снопах, как она её стелила, — только с одного края примятая, где он сидел.

Марфа долго смотрела.

— И постель не мяли, — сказала она.

— Некогда было, — сказал Ершов и пошёл искать, где умыться.

ГЛАВА ПЯТАЯ

На Уховом дворе

Прасковья считала, что сгорело.

Она сидела у своих ворот на земле, как сидела всю ночь, и Аграфена сидела рядом, на обгорелом бревне, и Прасковья говорила — не ей, а так, вперёд себя, ровным голосом, каким говорят, когда перечисляют товар.

— Изба. Клеть. Сарай с дубьём. Дубья сорок пудов, ивового, весной брали. Кожи в чанах — девятнадцать. Восемь своих. Одиннадцать чужих, на заказ, Гладышевы давали, и с Гостиного. — Она помолчала. — Одиннадцать чужих.

Аграфена молчала. Она знала, что такое чужой товар, сгоревший у тебя на дворе.

— Соль, что у тебя брала. Полпуда. Ещё не плачена.

— Не плачена — и не надо, — сказала Аграфена.

Прасковья кивнула, будто и не слышала.

— Платок вот, — сказала она и потрогала платок у себя на голове, красный с жёлтым. — Платок цел.

Утро было серое и тихое, совсем без ветра, как будто ветер вчера потратил всё, что у него было, и теперь отдыхал. Дым стоял над слободой не облаком, а столбами, ровными, и пахло так, что Аграфена перестала замечать запах через полчаса и только глаза щипало. Посреди каждого пепелища, где был двор, торчала печь. Печи не горят. Они стояли по всей слободе, белые, закопчённые, с трубами и без, одна за другой, как надгробия, — и около некоторых уже возились хозяева: разгребали, искали, вытаскивали из золы то, что не сгорело, — чугунок, топор без топорщицы, подкову.

На Уховом дворе никто не разгребал. Прасковья сидела в воротах и не входила, и никто не входил.

Кирилла не нашли. Ночью его не было ни в цепи, ни на берегу среди погорельцев, ни у соседей. Прасковья ходила по берегу до рассвета и заглядывала в лица, как Ибрагим, — Аграфена видела её тогда издали, — а потом пришла и села у ворот, и больше никуда не ходила. Она не говорила, что думает. Аграфена не спрашивала.

— Он кожи к ночи переворачивал, — сказала Прасковья. — Всегда. Во дворе, у зольника. С фонарём. — Она посмотрела во двор, на чаны, на то, что осталось от навеса. — Он бы во дворе был. Не в избе.

Губной пришёл с двумя стрельцами, когда солнце поднялось над дымом.

Он ходил так с самого рассвета — от двора к двору, по всей слободе, — и смотрел, и спрашивал, и стрельцы растаскивали за ним головни. Он был серый от копоти и от бессонницы, и рубаха на нём высохла и стояла колом. Он остановился у Уховых ворот, посмотрел на Прасковью, на Аграфену, снял шапку.

— Хозяйка, — сказал он. — Мне войти надо.

Прасковья не ответила.

— Входи, — сказала Аграфена.

Губной вошёл. Стрельцы за ним. Аграфена видела, как они идут через двор, мимо чанов, — губной впереди, медленно, глядя под ноги, — и как обходят зольник, заваленный обрушенным навесом: доски, балки, всё чёрное, а из-под них белое, известь, перемешанная с сажей, серая, как зола. Как подходят к избе. Избы не было. Была печь, и вокруг неё — горелые брёвна, осевшие внутрь, как оседает подрубленное дерево, и угли, ещё тлеющие под золой.

Губной постоял у печи. Потом сказал что-то стрельцам, и они взяли багры и стали растаскивать брёвна — осторожно, по одному, не так, как ночью.

Прасковья не смотрела. Она смотрела на свои руки.

Растаскивали долго. Аграфена считала брёвна, — не нарочно, глаза сами шли, — и на девятом стрелец, который тянул, вдруг остановился и выпустил багор. Отступил. Перекрестился. Другой подошёл, посмотрел, тоже перекрестился, и оба посмотрели на губного.

Губной подошёл. Наклонился. Долго не разгибался.

Потом разогнулся, снял с себя кафтан, который нёс на руке, и положил на землю у печи — накрыл. Сказал стрельцам: «Не трогать. Никого не пускать. Я вернусь». И пошёл к воротам.

Он остановился перед Прасковьей. Шапку он так и не надел.

— Там, — сказал он. — У печи.

Прасковья кивнула.

— Тебе смотреть не надо, — сказал губной. — Не надо. Я тебе скажу, когда можно.

— Он у печи, — сказала Прасковья. — Почему у печи?

Губной не ответил. Он смотрел на неё и, видно, хотел что-то сказать и не сказал. Потом надел шапку.

— Почему у печи? — сказала Прасковья ещё раз, уже не ему. — Он к ночи во дворе. С фонарём. Он кожи...

Голос у неё оборвался, и она замолчала, и сидела так, с открытым ртом, без звука, — а потом закрыла лицо платком, красным с жёлтым, и Аграфена обняла её и держала, и сама смотрела поверх её головы на печь и на губной кафтан на земле.

Малыгин пришёл, когда губной ещё не ушёл.

Он пришёл не один. С ним были люди, человек пятнадцать, — погорельцы, Аграфена знала половину, слободские, кожевники, их жёны, — чёрные, невыспавшиеся, кто с топором, кто с пустыми руками. Они шли от берега, где всю ночь сидели на узлах, и шли не просто так, а куда-то, и Малыгин был впереди.

— Губной! — крикнул Малыгин ещё издали. — Губной, я видел!

Губной обернулся.

— Что видел?

— Водовоза! — Малыгин подошёл, запыхавшись. Он был в чужих портах, широких, подвёрнутых, — свои, видно, сгорели вместе с бельём. — Татарина. Ваську, что воду возит. Ночью, перед пожаром, у этих вот ворот. — Он ткнул в Уховы ворота. — С бочкой. Стоял.

— Когда?

— Ночью! Около полуночи. Я до ветру вышел — стоит. Мерин, бочка, сам. У ворот. Ворота настежь. Стоит и не льёт. — Малыгин обвёл всех глазами. — Я ещё подумал: чего стоит? А потом лёг. А потом — горит.

Люди за его спиной загудели.

— Не льёт, — повторил кто-то. — С бочкой — и не льёт.

— Он и на пожар не пришёл. Водовоз! Вся слобода в цепи — а водовоза нет. С бочкой-то!

— Водой не тушил, — сказала баба сзади, громко, — значит, огонь возил.

Аграфена подняла голову.

— Я его наняла, — сказала она.

Все обернулись к ней.

— Я его наняла, — повторила Аграфена. — На свадьбу. Воду возить. Он к Ухову по уговору ехал, два чана долить, кожи стояли. Кирилл его сам звал. Я слышала, как он сказал, — ещё вечером, у меня во дворе: потом к Ухову, я обещал.

Она сказала это ровно, как говорят правду, которой нечего бояться. И увидела по лицам, что сказала не то.

— К Ухову, — сказал Малыгин. — Слышали? Сам сказал. К Ухову ехал.

— Ворота ему открыли, — сказала Прасковья из-под платка. Тихо. Никому. — Кирилл ворота оставил. Чтобы Васька въехал.

Она не поняла, что сказала. Аграфена видела, что не поняла. А люди поняли.

— Ворота ему оставили, — сказал кто-то. — Он и въехал.
— Новокрещен, — сказал другой. — Вчера крестился, завтра обратно.
— Где он?
— Через мост поехал, — сказал кто-то сзади. — К своим. Я бочку видел.
— В Новокрещенской, значит.
— Где же ему ещё быть.
— Пошли.
Губной поднял руку.
— Стой, — сказал он.

Его не услышали. Или услышали и не остановились. Люди уже поворачивались, уже шли — мимо Уховых ворот, мимо губного, мимо Аграфены, — и их стало больше, потому что из соседних пепелищ выходили другие, бросали разгребать и шли тоже, не спрашивая куда, потому что видели, что идут.

Губной посмотрел им вслед. Потом на стрельцов у печи. Двоих он оставить обещал. С ним больше никого не было.

— Ты, — сказал он Аграфене. — Беги в избу. К воеводе, к дьяку, к кому хочешь. Скажи — губной просит людей. В Новокрещенскую. Скоро.

Аграфена встала.

Прасковья держала её за подол. Аграфена посмотрела на неё сверху. Прасковья отпустила.

Ершов спал два часа — на лавке в сенях, не раздеваясь, потому что в избе Фёкла мыла посуду, а в сенник он идти не хотел. Потом встал, умылся у колодца, переоделся в будничное — свадебный кафтан лежал на крыльце, ободранный, в иле до пояса, и пах Булаком, — и пошёл в избу. Был понедельник. В понедельник приказная изба работала, сгорела слобода или нет.

Дьяк сидел за своим столом. Ершов не знал, спал ли он. Лицо у дьяка было такое же, как всегда, — гладкое, спокойное, — и одет он был так же, как всегда, и перо держал так же. Он кивнул Ершову, как кивал каждое утро.

— Хорошая вышла свадьба, — сказал дьяк. — Весёлая.

Ершов не понял, шутит он или нет. Дьяк не шутил.

Вешняков пришёл в полдень. Он сел за Пантелеев стол, Кочергин — рядом, на лавке, и разложил всё, как в первый день: чернильница, перья, нож, листы, ровно, каждое на своё место. Лицо у Кочергина было умытое и очень бледное, и под глазами чернело, будто копать въелась и не отмылась.

Посадских пришло девять из двадцати, кого Вешняков звал на этот день. Они стояли у двери, у стены, мяли шапки и смотрели в пол, и от всех пахло дымом.

— Ухов, — сказал Вешняков, глядя в свой лист. — Кирилл. Кожевник.

Никто не отозвался.

— Ухов, — повторил Вешняков.

— Не будет Ухова, — сказал от двери сторож.

Он стоял в дверях, запыхавшийся, — видно, только что прибежал, — и держался за косяк.

— Ухова нашли, — сказал сторож. — В избе у него. Сгорел. Губной там. И ещё — в Новокрещенскую народ пошёл, татарина бить. Губной людей просит. Кондратьева... — он запнулся, посмотрел на Ершова, — Ершова к воеводе побежала. Меня сюда послала.

В избе стало тихо.

Кочергин перекрестился.

— Господи, — сказал он. — Я ж у него был.

Вешняков повернул голову.

— Когда?

— В субботу. — Кочергин смотрел на Вешнякова прямо, ясно. — Наперёд ходил, Ефим Ларионович. Повестить, чтоб в понедельник пришёл. Он рядом с Булаком, я мимо шёл. Думал — чтоб скорее.

— Повешать велено было с понедельника.

— Я наперёд. Виноват.

Вешняков посмотрел на него ещё миг. Потом кивнул — коротко, как кивают на мелочь, о которой поговорят потом, или не поговорят вовсе, — и перевёл глаза.

На дьяка.

Ершов видел это. Вешняков ничего не сказал, — он просто посмотрел через избу на дьяка, долго, тем же взглядом, каким смотрел на медную копейку под стеклом, — и дьяк этот взгляд почувствовал, потому что поднял голову.

— Ефим Ларионович, — сказал дьяк спокойно. — Я вчера на свадьбе был. Посажённым отцом. При шестидесяти человеках.

— Я не спрашивал, — сказал Вешняков.

— Спросишь, — сказал дьяк и опустил голову к бумаге.

Ершов уже был у двери.

Новокрещенская слобода начиналась за Булаком, у Мокрых улиц, ближе к Ильинским воротам, — две улицы деревянных изб, таких же, как в Кожевенной, только чище и с другим запахом: здесь пахло не известью, а конским потом, дёгтем, кизяком. Крещёные татары жили здесь своей слободой, особо, — от русского посада отдельно, от некрещёных татар за Кабаном тоже отдельно, — и Ершов, бегом идя по улице, видел, что улица пуста. Ставни закрыты. Ворота заперты. Ни ребёнка, ни собаки.

Народ стоял в конце улицы, у одних ворот. Человек сорок, может, больше. Ершов слышал их раньше, чем увидел: не крик, а гул, низкий, ровный, как гудит огонь в кровле, когда ещё не прорвался наружу.

Ворота были открыты. В воротах стоял Ибрагим.

Ершов не сразу его узнал — из-за бороды. Левой половины не было, на щеке было красно и блестело, и от этого лицо казалось кривым, чужим, будто нарисованным двумя разными руками. Ибрагим стоял в воротах, расставив ноги, руки опущены, ничего в руках, — и смотрел на толпу, и толпа смотрела на него, и между ними было шага три пустой земли.

Позади Ибрагима, во дворе, Ершов видел телегу. На телеге — бочку. Рядом с телегой — рыжего мерина, нераспряжённого, с опущенной головой. А дальше, у сарая, сидел на земле человек, обхватив колени, и раскачивался.

— Отдай, — говорил Малыгин. Он стоял впереди. — Отдай, Ибрагим. Мы тебя не тронем. Ты наш. Ты крещёный давно, ты в избе служишь. Отдай его.

— Он тоже крещёный, — сказал Ибрагим.

— Вчера крещёный!

— Пять лет.

— Пять лет! — Малыгин обернулся к людям. — Слыхали? Пять лет! А до того?

Ибрагим не ответил.

— Бочка у него, — сказал Малыгин, — полная. Я посмотрел. — Он показал на телегу. — Полная бочка! Водовоз на пожаре — с полной бочкой! Это как?

— Это так, — сказал Ибрагим, — что он испугался.

— Чего?

Ибрагим помолчал.

— Вас, — сказал он.

Гул стал громче. Кто-то сзади крикнул — Ершов не разобрал что. Кто-то толкнул кого-то, и толпа подалась вперёд на полшага, и три шага пустой земли стали двумя.

Ершов пролез вперёд. Его толкали, он толкал. Он вышел к самым воротам и встал рядом с Ибрагимом — не потому, что решил, а потому, что больше встать было негде. Ибрагим даже не посмотрел на него.

— Подьячий, — сказал Малыгин. — Ты чего тут?

— Губного жду, — сказал Ершов.

— Губного! Губной там, у Ухова. Губному некогда.

— Сейчас будет.

Он не знал, будет ли. Он знал, что Аграфена побежала в избу, а из избы он ушёл раньше, чем кто-нибудь успел что-нибудь сделать. Он стоял в воротах рядом с Ибрагимом и чувствовал на себе сорок взглядов и понимал, что стоит здесь не как подьячий, а как человек, который пришёл и встал, — и что сорок человек это понимают тоже.

— Подьячий, — сказала баба сзади, та, что сказала у Ухова «огонь возил». — Ты вчера женился. Ты сегодня за татарина стоишь?

— Я стою, где стою, — сказал Ершов.

Это было глупо. Он сам слышал, что глупо. Но баба замолчала, и толпа не подалась больше, и так прошло время — Ершов не знал сколько. Может, мгновение. Может, долго. Человек у сарая перестал раскачиваться и смотрел на ворота.

Потом с улицы, сзади, послышался топот — не бег, а шаг, мерный, тяжёлый, — и толпа заоглядывалась, и раздалась, нехотя, по краям, и в проход вошли стрельцы, человек двенадцать, с бердышами, и впереди — губной, серый, в одной рубахе, без кафтана.

Он прошёл сквозь толпу, не глядя на неё, будто её не было. Остановился перед Ибрагимом.

— Где?

Ибрагим отступил в сторону.

Губной прошёл во двор, к сараю. Наклонился над человеком, который сидел на земле. Сказал что-то — Ершов не слышал что. Человек поднял голову. Это был Василий — Ершов узнал его по рыжей бороде и по тому, как он сидел, по-своему, не по-русски, — только лицо было другое, не то, что вчера кричало «Вода!» с передка. Лицо было серое, опухшее, и глаза бегали.

— Встань, — сказал губной.

Василий встал.

— Беру тебя, — сказал губной. — В губную избу. Под караул. До расспроса.

Он сказал это громко — не Василию, а через плечо, на улицу, чтобы слышали все. И все слышали.

— Под караул! — крикнул Малыгин. — А потом отпустишь!

— Потом, — сказал губной, — будет расспрос. Ты и придёшь, скажешь, что видел. — Он повернулся к нему. — А сейчас разойдись. Тебе дом строить. Мне дело делать.

— Нет у меня дома!

— Значит, строить, — сказал губной.

Стрельцы взяли Василия с двух сторон и повели. Через двор, через ворота, мимо Ибрагима, мимо Ершова, сквозь толпу, которая раздалась и сомкнулась за ними и пошла следом — не расходясь, а следом, — к губной избе, на ту сторону Булака. Ершов слышал, как гул уходит по улице вместе с ними.

Ибрагим стоял в воротах. Потом прислонился к столбу.

Во дворе было тихо. Мерин стоял у телеги, опустив голову, и переступал ногами.

Из избы вышла женщина — пожилая, в татарском платке, — и встала на крыльце, и посмотрела на Ибрагима, и сказала ему что-то по-татарски, коротко, и ушла обратно. Дверь закрылась.

— Тётка его, — сказал Ибрагим. — Говорит, я виноват. Я его к Кондратьевой привёл.

— А ты?

— Я привёл.

Он постоял ещё, прислонившись. Потом потрогал щеку, где была борода, — осторожно, двумя пальцами, — и отнял руку.

— Он мне всё сказал, — сказал Ибрагим. — Утром, как я его нашёл. Он был там. Он видел. Он испугался и уехал. — Он помолчал. — Губной меня толмачом не возьмёт. Я родня.

— Не возьмёт.

— Значит, возьмут Онисима.

Ершов не знал, кто такой Онисим. Ибрагим посмотрел на него и, видно, это понял.

— Онисим Дмитриев, — сказал Ибрагим. — Переводчик из воеводской избы. Татарские грамоты разбирает.

— А толмачить умеет?

— Умеет, — сказал Ибрагим. — Только грамоты знает лучше людей.

Он отошёл от столба и подошёл к мерину. Взял его за узду. Мерин поднял голову и потянулся к нему мордой.

— Его со вчерашнего не поили, — сказал Ибрагим. — Водовозова лошадь.

— Из бочки напои.

— Из бочки губной не велел. Сказал — бочку не трогать. — Ибрагим стал распрягать, медленно, путаясь в ремнях, потому что руки, видно, тоже были обожжены. — Колодец у них за углом. Сведёшь? Мне тут ещё с тёткой.

Ершов взял мерина за узду и повёл. Мерин шёл охотно, торопился, тыкался мордой ему в плечо и в бок, и пахло от него дымом, как от всех.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Новокрещен

Губная изба стояла на той стороне Булака, на взгорке, и была видна отовсюду — это её и спасло ночью: огонь до неё не дошёл, а с крыльца губной, говорили, смотрел на пожар до тех пор, пока не понял, что смотреть мало, и не пошёл сам. Теперь у этого крыльца стояли люди.

Не сорок, как утром, — человек пятнадцать. Остальные разошлись по пепелищам: разгребать, искать, ставить шалаши из того, что осталось, и делить с соседями то, что осталось у соседей. Эти пятнадцать не разошлись. Они сидели на брёвнах у крыльца, на земле, на опрокинутой телеге, и ничего не делали, и не уходили. Малыгин был среди них. Баба, что сказала «огонь возил», — тоже.

Ибрагим сидел на лавке у стены, в стороне от них, и они на него не смотрели.

Он пришёл сюда сразу после того, как свёл тётку Василия — тётку Марью, по-старому Мариам, — обратно в избу, напоил мерина, закрыл ворота и сказал соседям, чтобы не выходили на улицу до вечера. Соседи и не выходили. Новокрещенская сидела по избам, за ставнями, как сидят в грозу. Ибрагим шёл сюда по пустой улице и слышал, как за ставнями разговаривают — тихо, по-татарски, и замолкают, когда он проходит мимо.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.